

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Сестры

Очерк из жизни Среднего Урала

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М22

М22 **Мамин-Сибиряк Д.Н.**
Сестры: Очерк из жизни Среднего Урала / Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2012. – 84 с.

ISBN 978-5-4241-3050-2

Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.

ISBN 978-5-4241-3050-2

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

I

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы — числом десять — занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на посессионном праве; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя иностранцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской природы, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза. После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабжении заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заводах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах. Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой цифрой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец, какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нравственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необходимости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим

из заводов Кайгородова, но сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки в глубь Уральских гор, куда был заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верстах с лишком по самому плохому из русских трактов — Гороблагодатскому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась — это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский завод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшоная» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась позади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождающая реку далеко по ее течению вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный городок, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широкой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился перед небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской станции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной кумачовой рубашке, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

— Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разе к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пушает, кто ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

— А где живет эта Фатевна? — спрашивал я.

— Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церкви.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза

рукой, внимательно смотрела на меня.

— Здесь живет Фатевна? — спрашивал я.

— А тебе на што ее? — отвечала вопросом старушка.

— Да вот мне нужно квартиру...

— Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, милости просим, — весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одега была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую рубашку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными глазами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в «обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

— У меня тут живет жилец один, — говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, — ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

— Как же это так? Это неудобно будет... — протестовал я, — я никого не хочу стеснять...

— Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую светлую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашенный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бумаги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный табак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

— Вот все пол собираюсь выкрасить, — трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. — Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась, хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? — бойко спрашивала Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: — Не раздережься, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знакомым, но где я видел это лицо? когда?

В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

— Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! — вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

— Какой там черт приехал? — ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. — Ба-багюшки, светы мой... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!

— Именно судьбами... — проговорил я, и мы не только обнялись, но и перещеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

— Вот эк-ту лучше будет, — говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любуясь встречей старых товарищей. — Феша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! — звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. — Фешка, ли-ко, ли-ко!..

— А вы что тут рот-то разинули! — закричал Мухоедов на баб. — Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

— Что я вам за голубушка... — ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь по-прежнему в дверях. — Вот мамынька велит, так и принесу...

— Фатевна, водки, варенья, печенья! — неистовствовал Мухоедов, снова заключая меня в свои объятия.

— Варенья-то еще не наварили про вас, — огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, — в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица, носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

— Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?! — с азартом накинулся Мухоедов на своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: — А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роня слова, заговорил:

— Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

— Нет.

— Учитель греческого языка? железнодорожник?

— Нет.

— Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

— Служу отечеству...

— Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

— Я ни с кого ничего требовать не буду, — объяснял я, — мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в заводском архиве.

— Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. — Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

— И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие морщины, которых раньше не было, да близорукие глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волосы были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой — словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовой экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответствующему требованиям и условиям нового времени.

— А почему я не верю? — заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. — Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков, рождений, смертей, но ведь количество — это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклиподота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклиподот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти; конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклиподот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклиподота, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклиподот и говорит доктору, что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклиподот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой книжонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям, закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.». А в сущности, все это нарисовал Асклиподот, и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

— В твоих словах, может быть, и много правды, — отвечал я, — но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, — самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать необходимые материалы.

— Да ну вас к черту вместе и со статистикой вашей! — довольно энергично

проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. — Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высокая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

— Еще дочерь Фатевны, — проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. — Только она сегодня не в ударе...

— А что?

— Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинёт на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну, пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житьишко, ажно тоска заберет, известно — сердце не камень, лишнюю рюмочку и пропустишь.

— А сюда-то ты как попал? — спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

— Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, — заговорил, махнув рукой, Мухоедов, — ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. — Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. — Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклонны, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, только жалованьишко маловато...

— Сколько ты получаешь?

— Тридцать семь рублей с полтиною.

— И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:

— И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Бого-слова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы, Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклонны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и

характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. — Мухоедов выпил еще рюмку. — Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

— Одну колбасу изживете, вышлют другую.

— Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и выпила с завидным аппетитом.

— В кои-то веки и мы гостя дождались, — говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, — а то, сталошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письма да письма, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, — уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, — сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то... А какие это деньги по нынешнему времени?

— Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? — угрюмо заговорил Мухоедов. — Никаких денег я не посылаю...

— А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублей для своих родителей посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

— Знаешь, что я иногда думаю, — говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, — мне кажется, что мы *отстали*, нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то — ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачаха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо,

очень хорошо», как малым ребятам, а врачаха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачаха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты, господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, — думаю про себя, — что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш *modus vivendi*¹ и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, — все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной встававшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц,

давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

— А ведь врачаха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, — заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, — идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности... Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачаха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... *Tempora mutantur...*² Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова, что его песенка спета, теперь про нас то же говорят... Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

— А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, оглянешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видать этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество — так сердце кровью и обольется... Э-эх, золотое было времечко... А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть, и еще, подлец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенко; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководящими каждым выдающимся движением студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он